

1

Иван ТЕРТЫЧНЫЙ

г. Москва

— Веришь ли? Я никогда по доброй воле не вспоминал о ней почти вовсе, — говорил он, опираясь руками на перила плавающей веранды, увлекаемой буксиром от набережной к песчаному острову посередине Амура, где в жаркие дни любят отдыхать горожане. — А если мельком и вспоминал, то один раз в десятилетие, в связи с чем-то.

Он помолчал, глядя на широкое течение воды, и снова повернул ко мне наклонённое лицо.

— Хотел бы я её увидеть теперь? Не знаю. Вряд ли... Скорее всего, она очень изменилась, по крайней мере внешне. И пытаюсь увидеть, разглядеть в заматеревшей женщине семнадцатилетнюю девушку, услышать её голос — тот самый голос! — дело заведомо провальное. Или я не прав, земляк?

Он поднял голову и внимательно посмотрел мне в глаза.

2

Признаюсь как на духу: люблю путешествия. Тяга к временной перемене мест живёт в душе с юности; увидеть новые земли, новых людей, не известные тебе большие и малые селения, услышать другой говор, уловить, почуять иной ритм человеческого бытия — не счастье ли?

Нравилась и нравятся до сих пор путешествия разного рода: и пешие, и автомобильные, и водные, и железнодорожные... Что же касается путешествий космических, о которых слышны пока что только общие рассуждения, то отвечу априори: безжизненные пространства не манят меня ничуть. Хотя, возможно, для иного астронома перемещение в космосе — предел мечтаний. Что ж, каждому — своё...

Однажды нежданно-негаданно очутившись в городе, вольно раскинувшемся на высоком берегу Амура, неторопливо оглядевшись в нём, я со временем почуял в себе почти neodолжимую тягу видеть и слышать его — пусть изредка, пусть один раз в столько-то лет. И был, думается, в этом странном, почти не объясни-



мом пристрастии один понятный мне мотив: здесь однажды расцвела такая случайная, такая мимолётная и такая нежная влюблённость!

И вот я снова здесь, снова легко вспоминается забытое.

... Мы едем в малолюдном автобусе за город, в просторный сосновый бор, где в одном из его уголков на берегу реки разместился пионерский лагерь, а в нём-то и работает вожатой её лучшая школьная подруга (да и вообще там мировой девичий коллектив), и, значит, нам там будет весело. Так говорит она. И я почему-то ей верю, хотя в каком-то ином случае предпочёл бы нечто более простое, чем шумное детское окружение. Но обещанный пляж (сегодня, как и вчера, и позавчера, неотменимый жаркий день) в часы детского затишья и три бутылки вина в нашей сумке подкрепляют мою веру в её утренний замысел. Что ж, лагерь так лагерь...

... Мы стоим на берегу загона и смотрим на скопище речных судов — и казённых, ждущих, может быть, ремонта, и разноцветных яхт, и каких-то катеров и лодчонок. Моей милой это, вероятно, ни к чему — глазеть на столь пёстрый вид... А я вижу всё это впервые в такой близости... А там вон, за рекой, синее в дымке лесистый хребет, там уже чужая земля, притихшая, присмирившая в последние годы, но оттуда веет настроженным холодком...

Ей нравится её родной город, и она рада, что он мне тоже пришёлся по душе, и это нас роднит. Так говорит она. И я ей верю. Разве я могу ей не верить? Ведь она доверила мне даже себя...

... Мы сидим за столом, увенчанным неяркой настольной лампой, пьём болгарский коньяк «Плиска», закусываем ломтями чуть подкопчённой красной рыбы, вкушаем индийский чай, смеёмся и беспричинно целуемся — нежно, жадно, вволю... Когда мы лежим на диване, горячие, взволнованные, меня почему-то удивляет, что её лицо в темноте кажется белым-белым и почему-то совсем не знакомым; мы вглядываемся друг в друга, понимаем друг друга, а там, под окном, в переулке кто-то никак не может понять, почему же сегодня так рано погас в комнате свет; в стекло то и дело постукивают крошечные камешки; кто-то хочет увидеть её лицо, услышать её голос, но, увы, увы...

3

Ещё раз я увидел берега Амура лет, кажется, через десять и, слегка отдохнув в гостинице после длительного перелёта и смены часовых поясов, особо не раздумывая, тая в душе какую-то необъяснимую надежду, отправился искать Танию. (Если бы кто-то, даже не весьма остроумный, решил охарактеризовать меня в этот час, то тут ему потребовалась бы одна-единственная строка классика: «Влечёт меня неведомая сила...») Точнее говоря, я предполагал, где её можно найти; специальность и работа Тани были связаны с таёжным промыслом, а стало быть, вряд ли она поменяла карьеру, а если даже и ушла с прежнего места, сослуживцы подскажут её новый адрес. На порхающую по градам и весям птичку она вовсе была не похожа: не тот склад характера.

Двухэтажный особняк в тихом переулке я нашёл сразу и постучал в однажды мною виденную дверь. И шагнул в просторный кабинет. За столами, нагруженными объёмистыми папками, сидели, уткнувшись в бумаги, три женщины — две в возрасте и одна молодая. У неё-то я спросил, могу ли я увидеть такую-то, и тут же, спохватившись, сообразил, что, возможно, у неё, у Тани, теперь другая фамилия, всё-таки десять лет — не десять дней; что, возможно, — да какое там «возможно», совершенно точно! — я напрасно явился в этот тихий переулок, в этот занятый делом особняк, в эту просторную, затенённую плотной листвой липы комнату... Что за дикая выходка, братец?

Женщины, те, что постарше, переглянулись и, словно повинувшись чьей-то беззвучной команде, встали из-за столов и проскользнули мимо меня в открытую дверь.

Молодая тоже встала и повернулась ко мне.

— Это я...

Я смутился. Я с первого взгляда не узнал её. За годы разлуки без надежды на встречу память как бы перерисовала её облик: тут капельку добавила в лице, тут убавила, лишь оставила неизменно стройной фигуру... После некоторого замешательства я коротко всмотрелся в лицо Тани и бесповоротно признал: да, это она. Карие с зеленцой глаза... знакомые веснушки... полные вишневые губы...

светлые брови... Этот тихий внятный голос — её голос!

— Это я... — повторила она. Ресницы её вскинулись, чуть дрогнули. — Ты? Это ты?

Чистый румянец проступил на её щеках.

На безымянном пальце правой руки я разглядел обручальное кольцо; оно туго обнимало располневший палец и почему-то казалось тусклым, будто блёклая медь.

— Откуда?

— С самолёта.

— А я...

— Таня...

И тут, точно сквозь вялый и туманный сон, до меня дошла отрезвляющая мысль: путь в наше общее коротенькое прошлое и мне, и ей заказан напрочь; есть только сегодняшний день, где мы существуем отдельно друг от друга, и ещё может случиться день завтрашний, где мы можем быть — отдельно друг от друга. Общего будущего — ни дня, ни недели — у нас нет, ему не из чего расти. Трусись? — спросил я себя. Будущего нет, подтвердил разум. И, сдавленные его мёртвой хваткой, чувства, задыхаясь, подтвердили: общего нет... нет будущего...

— А я...

— Таня, мне нужно сейчас идти в институт культуры... К пятнадцати ноль-ноль надо... Позвони, когда освободишься. Или там, или в гостинице буду. Просто позвони и скажи: «Я уже свободна!» Вот... — Я положил на стол визитку с номером мобильного телефона и, шутиливо махнув рукой, шагнул к плотно закрытой двери.

«...уже свободна!»

«Не слишком ли жестоко, господин гуманист?»

4

Месяца через два после возвращения с Дальнего Востока я оказался в гостях у своего двоюродного брата. Случай для нашего свидания был очень подходящий: день рождения Ивана, круглая дата.

После утреннего чаепития я отправился побродить по городу. Я шёл по просторному

скверу под высоким зелёным навесом пышных лип и клёнов, мимо плакучих ив, мимо цветущих рядов декоративного кустарника, мимо пахнущих скошенной травой газонов... Останавливался, радостно оглядывал ближний мир, древесный и человеческий — лица моих земляков, лучащиеся какой-то особенной мирной красотой, вслушивался в людские и птичьи голоса и понимал, приходил к выводу, что именно в июне можно почувствовать себя счастливым... Райская пора!

Когда я вернулся в знакомый мне дом, стол для праздничного обеда был уже, считай, накрыт усилиями жены брата, Нины, и их взрослой дочери Верочки. Уже в прихожей я слышал голоса первых гостей — мужской и женский. Они о чём-то весело толковали с хозяйками и звучно смеялись, должно быть, после первой рюмочки, «кухонной», вошедшей в обычай домашних праздников (первых гостей поощряют за своевременную явку).

Пришедший ранее прочих оказался сослуживцем брата, а женщина — его женой. Матвей и Марина — так именовали пару — тотчас взяли надо мной опеку и решительно усадили за праздничный стол рядом с собой. Марина о чём-то щебетала с соседкой, а её муж, по-свойски толкая меня локтем в бок, рассказывал о том и о сём, в том числе о приключениях на рыбалке; они с Иваном заядлые рыбаки; всю область исколесили, даже на бывший железорудный карьер ездили, там, на месте добычи полезного сырья, огромный пруд власти соорудили, обустроили чин по чину, зарыбили солидно — рыбаки млеют от счастья!

Я из вежливости поинтересовался у соседа, большая ли у него семья. Матвей ответил тут же, коротко и бодро:

— Маринка да я!

Потом, выпив и закусив, мой бравый сосед решил всё-таки растолковать подробности их семейной жизни. Что, мол, они за одной школьной партой в старших классах сидели, любовь у них была, даже целовались. А после службы в армии Маринка ему почему-то разонравилась, и он женился на другой. А она тоже взяла и замуж за другого вышла. Ну вот так оно всё устроилось. И жили они так и жили. А лет через девять-десять как-то встрети-

лись случайно — и любовь их проснулась, разгорелся костерок.

— Тут-то я и сказал ей сразу: бросай ты своего губошлёпа — и давай жить вместе! Первая любовь никогда не ржавеет! Так и сказал, понял?

— А дети у вас в семьях были?

— А то!.. Я свою с сыном к матери переселил, пусть вдвоём воспитывают, они, понимаешь, такие дружные! Сила! А её губошлёп на другой женился, так что дочку Маринину в порядке воспитают. Вот!.. Давай выпьем за здоровье твоего брата. Согласен?

А когда объявили перерыв-перекур, Матвей вывел меня на улицу «подышать кислородом». Я поглядывал на высокие лёгкие облака, на мягкое колыхание деревьев, вдыхал-выдыхал июньский воздух, а мой собеседник продолжал развивать семейную тему.

— Приходим вечером с работы, садимся ужинать, стопочки по три-четыре примем, валимся на диван — и давай песни петь! Или телевизор включаем... А потом — на боковую! Обнимемся крепко и спим. Ничего нам не надо! Счастье! Понял? Вот так...

5

Я уже заканчивал гостевание у брата, загорелый, с сияющими глазами, напивавшийся воздухом родины, когда позвонил на мобильный тот самый знакомый, с которым мы вместе одолевали водную ширь Амура на плавучей веранде.

— Сейчас я в поезде, подъезжаю к нашему областному городу, пересажу на электричку — и в тихий-тихий городок Свободу. Помнишь, я его упоминал в разговоре?

— Помню. Как же!..

— Может, когда-нибудь увидимся? В Москве, допустим...

— Зачем — когда-нибудь? Через полчаса я встречу тебя на вокзале, вот и увидимся. Посидим в кафе, поговорим. Годится?

— Не ожидал такой приятной засады, не ожидал...

6

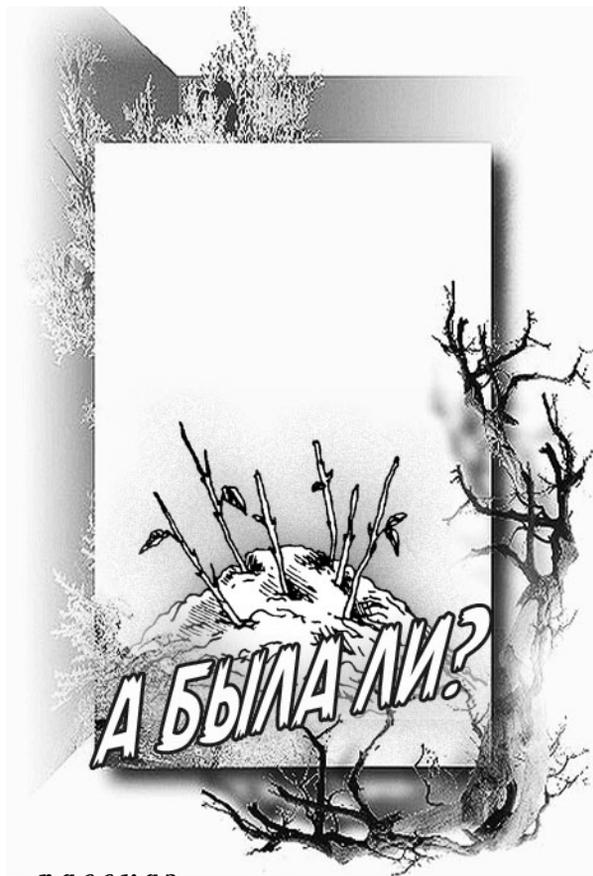
— Ну вот, земляк, летел-летел я на самолёте, смотрел вниз через окошечко на облака... они снежную пустыню изображают... на извивы больших рек, горных хребтов... жилья человеческого почти не видно... большей частью видишь прямые линии — просеки, где проходят линии электропередачи... И вот глядишь на всё это и думаешь не о небе, не о солнце и луне, не о звёздах и прочем, что на высоте, — а о земном думаешь, о тех, кого любил и любишь, о памятных детских кострах на склоне холма, об ушедшей в мир иной родне, о стрекозах у летней речки, о зимних зорях, о первых скворцах в марте, когда под ногами хрустит ледок... Да что я тебе об этом рассказываю! Сам, небось, такое представляешь... В одной природной печке шла наша закалка! Давай выпьем за это!

Мы ещё раз приветствуем друг друга глотком вина в бокалах, и мой собеседник, лихо отбаранив на столе короткую дробь, развивает свою мысль.

— В общем, я понимаю и чувствую так: всё обаяние, вся неохватность, всё господство над тобой земной жизни постигается в небесной выси и, как ни странно, незримая небесная воля — на земле. Конечно, не все и не всегда видят её скромные или грозные признаки... Однако ж...

В свою очередь я рассказал земляку о недавно встреченных в праздничной компании двух, говоря по-современному, мажорах — Матвее и Марине, — дерзко рвущихся к личному счастью, и спросил его, что он об этом думает.

Земляк пристально глянул на меня, вздохнул и поправил на руке часы: до отхода электрички оставалось семь минут.



рассказ

1

Хотя ей было за семьдесят, все — и дети, и взрослые — называли её одинаково: Надечка. Жила она с молодых лет при семье брата в темноватой каморке с тусклым оконцем, выходящим в сад, безропотно сносила покрикивания невестки, толстой и горластой женщины, а то и приглушённые укоры братца, заметившего её явные или мнимые оплошки в быту.

Племянников у Надечки было трое — Петя, Андрейка и Коля — и всех она опекала по-матерински, но особо — Колечку, крепкого паренька с большой головой, плотно покрытой жёсткими серыми кудрями-колечками. «Аполлон... Русский Аполлон!» — приговаривал учитель-историк, всякий раз удивлённо глядя на входящего в класс ученика Бородина. Младшенький, в отличие от вспыльчивых и грубоватых братьев, рос весёлым и добродушным да и к тому же наделённым начальной бо-

гатырской силой, и, потому, наверное, его уважали и старшие ребята, и сверстники, и соседская малышня. Вот он-то и созывал взмахом руки в полдневную или вечернюю тень палисадника желающих: давайте, мол, побыстрее, сегодня Надечка будет сказки всякие рассказывать — страшные и грустные, народные и собственные, предания и библейские истории... Напевные сказания частенько длились до самой темноты, когда уже пора было отправляться спать. Время от времени Надечка прерывала свою речь угощением: взваром из сушёных яблок и груш да извлечёнными из старинного сундука разноцветными леденцами и мятными пряниками.

В тёплую и светлую пору суток её тёмная худенькая фигурка маячила или в огороде, куда она устремлялась после заутренней службы в церкви, или у тесно составленных в ряд хозяйственных построек: кормила-поила домашнюю живность, убирала из закутков навоз, раскладывала свежую подстилку — лежалую солому или опилки... Зимой и поздней осенью огород сам собой выпадал из круга её каждодневных забот; другие дела, казалось, сами находили Надечку в стенах дома: журчала швейная машинка «Зингер», мелькали в руках вязальные спицы, широко пласталась на крашеном полу мокрая тряпка, двигаясь с изгибом: вправо-влево, влево-вправо; шар-р...шар-р... шлюк... шляк...

Не желая смущать своим неловким присутствием семью брата, Надечка питалась отдельно: готовила еду на своей керосинке в своей каморке, тут же и трапезничала после короткой молитвы. Исключением из этого правила был первый пасхальный день; теперь и она торжественно восседала за семейным столом, розовея некрасивым чистым личиком от праздничной радости: как-никак отстояла всю ночь за божественной литургией, обошла со всеми молящимися крестным ходом Божий храм, принесла в темноте раннего весеннего утра освящённые куличи... Вон они высятся на середине стола в окружении разноцветных яиц; в красном же углу беззвучно трепещет перед божицей огонёк лампадки, неясно отражаясь на серебристых узорах зазеленелых окон... И так покойно, так мирно было в этот утренний час, что на глазах у Надечки сами собой выступали слёзы, и она тихонько шмыгала но-

сом... Надечка с удивлением разглядывала родню и не могла наглядеться; задумчиво рассматривал потолок брат Павел, странно молчала, сложив полные руки на животе, невестка, сидели неподвижным рядком присмирившие племянники... «Какая ж это красота — люди перед разговением!» — дивилась чуду Надечка, и слёзы снова горячо подступали к глазам.

2

— **В**ы по какому случаю так хорошенько выпили, братья-солдаты? Аж покраснели...

Бородины — Пётр, Андрей да Николай — могли бы и не отвечать на неловкий вопрос подпирающего спиной калитку соседа, но остановились и ответили:

— Мы?..

— А случай-то...

— А случай-то у нас законный, дядя Гриша, — заключил ответ братьев Николай. — Десятая годовщина Надежде Васильевне нашей... Понимаешь?

— Какой Надежде? Какой Васильевне? Тёще Андреевой из Пристени, что ль?

— Да ты забыл, выходит, как отца нашего по батьке звал? А у него сестра была...

— Надечка, что ль?

Братья рассмеялись.

— Ну вот и вспомнил!

— Вспомнил!

— А ещё сосед!

Упершись в калитку обеими руками, дядя Гриша оторвал от неё спину и выпрямился. Он хотел пошутить, он хотел сказать что-нибудь весёлое по этому поводу, но слова никак не шли на язык, они, чуть померцав, гасли в тёмных закоулках гортани, и потому вышло наружу только неопределённо-жалобное:

— И-о-о-ы-у...

Сосед огорчённо махнул рукой и поднял кверху прищуренные глаза.

3

После смерти жены — потери жестокой, сокрушающей — Гринёв переместился на пятьсот километров южнее, — из большого города на

малую родину, в старинное село Бегищево. Оставил он обширный шумный город без сожаления: оба сына выучились — один на доктора, другой на инженера-нефтяника, — разъехались по разным краям, обзавелись жёнами. А ему-то что предстояло?.. Осознанно, подсознательно ли решение однажды созрело, и Павел Петрович без колебаний отправился в дальнюю и, скорее всего, предпоследнюю в жизни дорогу...

Несуетливо и даже как-то легко освоившись в знакомой округе, войдя душой и телом в неспешное сельское житьё, Гринёв понял, что он здесь по-прежнему свой, что вновь ожило в разговорах его прежнее, ещё детское, прозвище — Пупеха, что ему, как когда-то, близки слова и заботы, лица заматеревших сверстников и основательно вошедших в года сверстниц, всех земляков, устоявших неведомым образом в тяжкие годы разгрома привычного житейского уклада...

Перед сном, уже в темноте, он коротким движением руки включал радиоприёмник, как бы сам собой примостившийся на тумбочке у кровати, и, вполуха слушая музыку, по привычке перебирал в памяти разговоры в учительской, свои классные занятия, нечаянные встречи на улице, потом незаметно погружался в прошлое, дальнее — дни детства и юности... Бродя воскресным днём по старому кладбищу, заросшему одичавшей сиренью, он вышел на угол нового, оно при нём, тогда ещё подростке, только-только начало заполняться — две или три могилы... Первым здесь упокоился безногий инвалид Мирон — буйан и пьяница, живший у околицы Бегищева в крошечном домишке, крытом соломой. А вот невольной его соседкой стала добрая женщина с его улицы — Надечка. «Надежда Васильевна Бородинна», — так гласила кривая двухстрочная надпись, сделанная чьей-то явно неумелой рукой года три, наверное, назад; ржавчина ещё не успела густо выступить на серебристой пластинке... так... мелкие-мелкие рыжеватые точки... может и без поновления год-другой побыть... Но ни эти слабые следы времени, ни кособокая надпись, выведенная чёрной краской, ничуть не портили вид высокого серебристого креста, слово парящего в виду мрачной рощицы других — многих и многих — крестов и оградок; бывшее когда-то новым, робко начинавшимся, кладбище в нынешнюю пору было з а с е л е н о сплошь, по

крайней мере отсюда, с угла, взгляд не ухватывал и малой пустующей полянки.

4

Гринёв миновал белокирпичный дом сельской администрации и пошёл вдоль церковной ограды, поглядывая в начало улицы Закурганной. И он не ошибся: без пяти два распахнулась калитка углового дома — и появилась Алевтина Савиненко; ровно в четырнадцать ноль-ноль она открывает после обеденного перерыва продуктовый магазин; по давней привычке она шла мелким скорым шагом, наклонив голову и придерживая левой рукой дамскую сумочку.

Павел Петрович опередил Алевтину, он-то был в десяти шагах от магазина, считай, рядом.

— Привет, Алечка!

— Привет, Паша!

— Как поживаешь, Аля?

Алевтина испытующе посмотрела в глаза и тихо сказала:

— А то не знаешь... Хорошо.

Смугловатое лицо Алевтины было на редкость некрасиво: нос картошкой и широкий подбородок — приговор женщине. Но её глаза... Они с лихвой искупали допущенную природой грубость; они лучились, сияли, в них светилась такая роскошь души, такое недоступное сверстникам движение жизни, что заставляло трепетать перед её взором не одного одноклассника да и ребят постарше — из девятых и десятых... Перед самыми выпускными экзаменами и он в конце концов не устоял под действием её чар, позорно забыв о своей первой любви, и что-то пытался предпринять, но было уже поздно: сердце Алечки, похоже, уже было занято признанным красавцем Вадимом...

— Я вот о чём ещё хотел тебя спросить... Ты помнишь Надечку, тётечку с нашей улицы? Нет?.. Ну, сестру дяди Паши Бородина...

— Нет, Павлик, не помню. Честно.

— А его, Бородина, сыновья приезжают?

— Петя, старший, уехал с женой на её родину, на Север. Спился. Умер. Двое у него сыновей вроде. Андрюша жил здесь. Умер. Спился. Жена с детьми куда-то уехала.

— А Николай?.. Коля?..

— Бывает Коля. Родни у него никакой тут не

осталось. Друзей навестит, на кладбище к отцу-матери сходит — и через денёк-другой уезжает. Вот так, милый Пупеха...

5

Он мог не брать с тумбочки наручные часы, ибо наверняка знал: ровно три часа ночи. Это вот — внезапное странное пробуждение — стало время от времени происходить с ним с той поры, когда он вернулся в Бегищево и поселился в пустующем доме в конце родной улицы (исконное жилище Гринёвых было продано его сестрой, уехавшей к дочери, каким-то переселенцам лет пятнадцать назад). Он как-то спросил соседку Валентину Михеевну о непонятных своих пробуждениях, мол, не знает ли она чего-то подобного... Как же, знаю, отвечала соседка, это и с её матерью случалось, и с братом старшим... Три часа ночи — это Божий час. Человеку следует обдумать в тишине прожитый день, или, к примеру, месяц, или год — да и помолиться после о здравии живущих либо об усопших... Так Павел Петрович, не старый ещё, пятидесятидвухлетний мужчина стал, глядя в глухую тьму, обдумывать ночами пережитое, вспоминать покойную жену, сыновей, мать, отца, бабушку... И выходило, что самое-самое, чем наполнилась и полнится его душа, это детские годы да годы взросления, да вот ещё внешне скромное нынешнее его житьё; будто глаза омылись некоей чудесной влагой — и он стал видеть вокруг то, чего никак не мог увидеть раньше; стал слышать в звуках речи и в звуках природы — ветре, шелесте листьев, гудении шмелей, пении птиц — нечто неслышанное до сей поры. Почему? Почему ему уже несколько раз снилась Надечка — тётенька с их улицы? Не дети, не отец или мать, а — Надечка? Она что-то напевно рассказывала ребячьей гурьбе, кого-то поглаживала легонько по головёнке неказистой натруженной ладонью; её некрасивое личико то вдруг покрывалось мелкими морщинками-лучиками, то неожиданно молодело и делалось ясным и улыбчивым, а серые глазки цвели васильками...

А может быть... может быть, думал он под приглушённое тиканье будильника, может быть,

близится старость и я, вольно или невольно, начинаю помалу прощаться с жизнью? А что я успел сделать? Чем я запомнюсь людям? Да и жил ли я? А вдруг я приснился сам себе? Где моя жизнь? Помню, было детство, мир был полон красок, звуков, людей... И где они, те люди, те звуки, те краски? Я помню многие лица, но я давным-давно не вижу их вокруг. А ведь, кроме детских лет, были другие годы... Провал, тёмная яма... Мне, наверное, придётся скоро умереть, а я ещё не жил по-настоящему; я не видел мира; я не видел настоящего моря; не был в горах и в пустыне... Мне снится тихая, забитая, неграмотная Надечка. Славная, добрая сказочница! С каким восторгом слушала её детвора, окружив летним вечером у благоухающего палисадника! А, скажем, Алевтина вовсе не помнит её... Хотя Аля, конечно, жила, да и теперь живёт, в отдалении... А кто помнит кроткую Надечку? Я? Или её любимый племянник Колечка? Заходит ли иногда — пусть раз в пять лет! — в кладбищенский угол проведать давнюю могилу? А может, и не было её никогда, Надечки? Может, приснилась в долгом-долгом детском сне и снится иногда теперь?

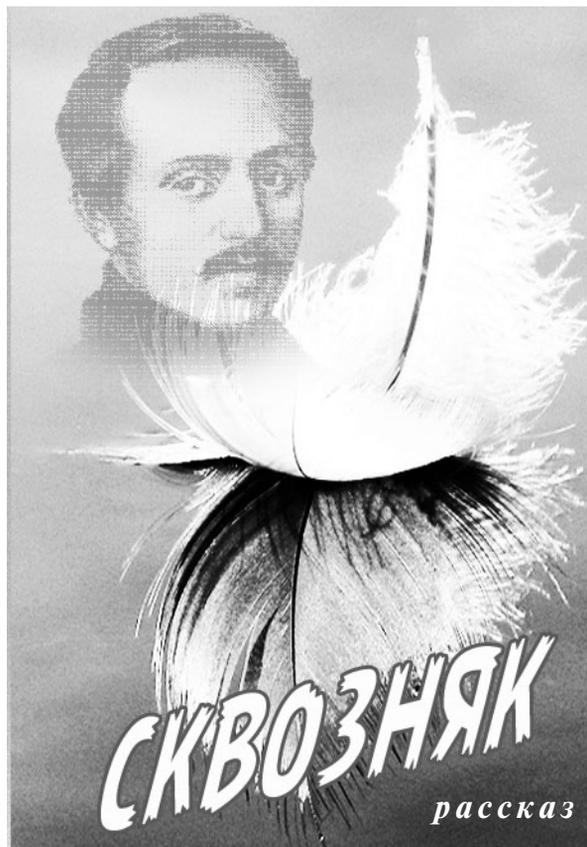
6

— Павел Петрович! Паша! — Алевтина, заметив его у прилавка, оторвалась от разговора с какой-то седенькой старушкой и приблизилась к Гринёву. — Ты знаешь, позавчера к Васе Сапрыкину приезжал Коля Бородин. С сыном. Ты же что-то спрашивал, помню... Привет тебе от него...

«Проверю всё ж... — решил Гринёв, направляясь домой, — да и ближе так будет, кстати...» Краем затравенелой канавы он вышел на угол кладбища и почти сразу же увидел на знакомом серебристом кресте мягкое мерцание таблички из нержавеющей стали. Он подошёл поближе и прочитал вслух выгравированные рукой мастера знакомые имя, отчество и фамилию. Под двумя чёткими, выверенными строками светилась третья: разделённые чёрточкой годы земной жизни.

Был, был...

Была.



И вот осталось позади ещё одно пустоватое степное пространство, и снова справа и слева от дороги, огороженной пирамидальными тополями, протянулись вдаль зелёные шеренги виноградников и абрикосовых садов... И вот замелькали за стёклами нашего авто осанистые дома с крепкими металлическими воротами — начиналась какая-то станица.

Завидев на обочине белые вёдра, увенчанные горками пожелтелых абрикосов, Наталья попросила Сергея Сергеевича остановиться. Они вдвоём вышли из машины, чтобы взглянуть на фрукты повнимательнее и, может быть, прицениться. Я же только снял тёмные очки и, поёрзав на сиденье, уселся поудобнее. Что мне они, эти желтобокие абрикосы? Пожалуй, с куда большим удовольствием я съел бы сейчас разрезанный на половинки свежий огурец, посыпанный крупной солью. Ну а кому-то только успевай подавать южные фрукты. Вот, скажем, Наталья...

Едва мои спутники достигли цели, в проёме распахнутой калитки тут же появилась невысокая молодая женщина в лёгком цветастом халате. Лёгкими шагами она в считанные секунды одолела малое расстояние и, улыбнувшись и коротко глянув на Наталью, поздоровалась с Сергеем Сергеевичем. Боковое стекло было приспущено, и потому я, не напрягая слуха, слышал каждое слово.

— И почём ваши абрикосы? Дорогие, наверное?

— А сколько вы будете брать? — ответила вопросом на вопрос женщина. И улыбнулась.

— Может быть, ведёрко, — предположил Сергей Сергеевич. — А?

— Трудно сказать — почём... — Женщина на миг задумалась. — От если б взяли ведёрка два-три, я б сразу сказала — почём...

— Беру три! — решительно сказала Наташа и достала из сумочки кошелек. — Да, три! И сколько нужно заплатить?

— Сколько-сколько... Та сколько хотите, столько и платите!

Казачка тихонько и радостно рассмеялась, словно у неё камень с души свалился.

— Хорошие абрикосы, — сказал, открывая багажник, Сергей Сергеевич.

— Прекрасные абрикосы! — оценила свою покупку Наталья. — Ну, Сергей Сергеевич, вы, похоже, приносите людям удачу...

На игрушечно-поддельном казачьем хуторе на морском берегу, куда нас, дабы распотешить, решил завезти на часок Сергей Сергеевич, мне почему-то сразу не понравилось. Зной, выли-занные — ни пылинки, ни соринки — беленькие хаты, организованные забавы, толпы турист-ротозеев с фотоаппаратами... Единственное, что увлекло и даже немного растрогало, это старинная песня, исполненная хором во главе с пожилой певуньей в узорчатом одеянии; отчаянно-искреннее звучание её чистого голоса вело за собой весь хор, оживляло его старательное исполнение... В её пении, казалось, нежно светила неистребимая временем правда сердца, некогда вверенная ей небесной волей. Знала ли она об этом? Может быть, да, а может быть, и нет. Она жила в своём трепетном голосе, окидывая внутренним взглядом собственную судьбу — счастливую, несчастную ли... Я уж был го-

тов, дождавшись паузы, подойти к певунье, сказать ей благодарное слово, легонько, породственному приобнять, но — вот диво! — мои спутники, неведомым образом уловив моё взволнованное настроение, стали поглядывать на меня, и мне пришлось, мысленно махнув рукой, направиться к машине.

В череде мелькающих тополей я нечаянно, мельком углядел скромный дорожный указатель «Тамань», а вскоре появилось и его могучее белокаменное повторение, его-то невозможно было не заметить даже самому рассеянному пассажиру, ну а водителю — тем более...

Неспешно ступая затёкшими ногами, мы перешли небольшую площадь и увидели сияющую гладь моря.

— Тут рядом домик Лермонтова, а по соседству — музей. Зайдём? — предложил Сергей Сергеевич.

Наташа не ответила. Она увлечённо разглядывала живую картину моря, возможно, надеясь увидеть «парус одинокий»... Я же не колебался:

— Нет! Хочется спуститься к воде и оттуда посмотреть на берег. На обрыв.

Про обрыв я сказал не случайно, воображение нарисовало мне его много-много лет назад в тот самый день и час, когда я впервые прочитал «Тамань». И вот теперь нестерпимо хотелось сравнить мысленную картину с оригиналом.

Глаза Сергея Сергеевича засияли-залучились за широкими стёклами очков, и он одобрительно кивнул, будто я угадал какое-то его заветное желание:

— Годится. Пойдём вниз.

Быть в летний зной у воды и не искупаться...

После трёх-четырёх коротких заплывов мы собрались в кружок и, стоя по грудь в воде, стали обмениваться недолгими впечатлениями.

— А водичка здесь куда теплее, чем в Анапе...

— Азовская, здорово прогретая, смешивается с черноморской, вот он и получается, друзья мои, эффект такой.

— Дно как на ладони... Ни волн, ни ветра...

Беззвучно качается-покачивается море, и требуется невидимое усилие, чтобы оставить его приветливые объятия и отправиться на сушу.

Я отвёл правую руку в сторонку и от избытка чувств легонько похлопал ладонью по воде. И вот тут... И вот тут, когда рука расслабленно

лежала ладонью вверх на зыбкой влаге, откуда-то из воздуха скользнуло наискосок и легло на мокрую ладонь длинное птичье перо. Белое остроконечное перо с золотистым отливом. Мои товарищи переглянулись и изумлённо уставились в моё лицо, словно на нём внезапно появилась диковинная маска.

«Птица?...» — именно так, скорее всего, подумал каждый из нас, поскольку, не стовариваясь, мы обратили взоры к небу. Но кроме мягкого солнечного сияния и блёклой синевы там, уввы, ничего увидеть не удалось.

— Это что — дар поэта? Он увидел в тебе нечто близкое? Мол, продолжай, товарищ, писать задуманное?

— Да, вот и предполагай что хочешь... — поглядывая на золотистое перо в моей руке, смущённо произнёс Сергей Сергеевич. — Похоже, Наташа права: дар поэта. Тем более вон там, над обрывом, стоит домик, где он однажды пребывал, да и на море здесь смотрел, думал о чём-то, конечно...

И тут же, жестикулируя мокрыми руками и, как мне почему-то показалось, совершенно не к месту процитировал:

— «Тамань — самый скверный городишка из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да ещё вдобавок меня хотели утопить...»

— Ну как, здорово? Но сейчас здесь совсем не так. Правда?

Что я мог ответить Наталье насчёт «дара поэта»? Взгляд мой на мир давно не мальчишеский, наивно-восторженный. Моё дело — стол, бумага... Я бы мог ответить вслух иное, очевидное: как хороша эта прилипшая ко лбу русая чёлка, как приманчивы чуть мерцающие карие глаза и открытые вишнёвые губы... Да и вообще к лицу ей, нашей спутнице, это море!.. Но, естественно, насчёт «вслух» я малость погорячился. Море, как выяснил, к примеру, герой только что процитированного произведения, не лучшее место для свиданий и искренних объяснений...

Сказать же что-то Сергею Сергеевичу в ответ на его схожее с предыдущим предположение тоже непросто; что-то серьёзное — не выйдет, потому что сказать мне нечего; иронично же пошутить невозможно, глядя на его широкую ясную улыбку, восторженно сияющие глаза. В кои веки человек вырвался из цепких объятий экономики

и оказался, похоже, свидетелем мистического случая... И всё же я каким-то образом вышел из странного положения, и мы, поддерживая наш общий разговор о красотах местной природы и прелести морской воды, побрели к берегу...

И вроде бы с утра разлита в воздухе беспощадная жара, а так явственно, так ощутимо студил затылок и спину сквозящий над зыбью тягучий ветерок.

Ночью я спал беспокойно: просыпался, засыпал... И вот снова очнулся от неясного шороха. Я медленно открыл глаза, повернул голову — и остолбенел: в дальнем углу моей комнаты стоял какой-то рослый тип, темноволосый, в тёмной рубашке... Его я разглядел в одну секунду — лунный свет мягко сеялся из-за моего изголовья (я вечером так и не опустил жалюзи; читал-читал и незаметно задремал).

Мужчина шевельнулся и приподнял затенённое лицо. Теперь, при лунном свете, я увидел, что он ещё довольно молод. Помолчал и, видимо, рассмотрев меня, он резко спросил:

— Ну и что же будем делать?

Перспектива в любом случае вырисовывалась для меня невесёлая: крепкая фигура незваного гостя, его решительный вид и поблёскивающие глаза...

— Я говорю... — выдержав паузу, незнакомец приподнял плечи. — Что ты думаешь об этом? О случае на море?

Волна неожиданного гнева подняла меня с постели.

— Что значит «думать об этом»?! О каком таком «случае»?!

Голос мой зазвенел, страх разом куда-то улетучился. И я шагнул навстречу незнакомцу. Он неожиданно отступил к порогу — на шаг, потом ещё... И, повернувшись к стене, толкнул её свободной рукой... Я ничего не мог понять: передо мной висело длинное узкое зеркало в деревянной рамке — и никакой дверцы, и никакого движения. Я — да, вот я... И больше никого. Я ослабил наконец кулаки и для пушей уверенности потрогал ладонями зеркальную гладь. Холодок стекла, сплошного стекла — и никакого за ним пространства, и никаких следов дерзкого незнакомца... Да и был ли он? Я взглянул на циферблат мерно тикающих настенных часов: по-

ловина четвёртого. И потянул за ручку балконную дверь. Ночной холодок обнял меня и потёк дальше, в комнату, и ещё дальше — в невидимую щель под входной дверью... Живая ночная тишина мало-помалу успокоила гулко стучавшее сердце, напряжённое тело расслабилось, обмякло... Опираясь на прохладные перильца балкона, я неторопливо рассматривал дальние россыпи звёзд, огоньки не видимых во тьме селений, вдыхал пахучий воздух, любовался притихшим рядом с лунным диском крохотным белым облачком... а потом с непонятым умилением коротко подумал о хозяине дома Сергее Сергеевиче, спящем сном праведника на своём любимом кожаном диване, о нашей спутнице Наталье, облюбовавшей тишайший второй этаж и широчайшую кровать у закрытого зеленью платана окна...

Где-то недалеко, показалось, что совсем рядом, у соседского забора, вдруг ни с того ни с сего заорал молодой петух, через минуту-другую ему ответил такой же хриплоголосый собрат. «Э-э! — понял я. — Пора мне возвращаться в постель, иначе с этими горлопанамы придётся на балконе до самого утра куковать».

Ожидая прихода сна, я вспоминал поездку в Тамань: мерное колыхание моря, длинный желтоватый обрыв над водой, белёную снаружи и изнутри чистенькую хату, где недолго жил офицер-постоялец, будущий автор великого романа, её скромный быт (стол, кровать,

сундучок, два кувшина — вот, кажется, и всё), соседний музейный домик, где с благородной простотой явлены неразговорчивым посетителям разнообразные экспонаты, думал о том, что наитие порою не подводит меня: рассматривая на портрете лицо молодого гусара — свежее, чуть припухлое, с глазами, полными надежд и весёлого спокойствия, я невольно, ощутив щекою мягкое движение некоего холодка, перевёл взгляд на висевший поодаль портрет того же гусара (на портрет фотографический, дагерротип, который только-только появился в России) — и был потрясён. Где же та свежесть лица, припухлость щёк, губ? Где полные жизненной энергии глаза? Я подошёл поближе, и моё потрясение не только не улеглось, оно даже усилилось: передо мною было лицо старика.

Уже подрёмывая, я вдруг вспомнил про перо из Тамани. Вчера я положил его на тумбочку у кровати. Я повернул голову — настольная лампа и... больше ничего! Неужели унесло куда-то сквозняком? Я приподнялся и огляделся. А, вон оно где! Перо почему-то покоилось на подоконнике, золотисто мерцающая под лунным светом.

□

Иван Алексеевич ТЕРТЫЧНЫЙ

родился в 1953 году в Курской области.

Окончил факультет журналистики МГУ.

Поэт, прозаик, переводчик.

Публиковался в журналах «Балтика», «Двина», «Дон»,

«Молодая гвардия», «Москва», «Наш современник» и ряде других.

Автор книг: «И было утро», «Рядом», «Подорожная»,

«Когда-нибудь...», «Лунный снег», «Живая даль»,

«Безымянная вода», «Зоосад»

и сборника рассказов «Чёрная бабочка с белой оторочкой».

Член Союза писателей России.

Живёт в Москве.

